

УДК 82.0+82.0(091)

**ОСОБЕННОСТИ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО
САМОСОЗНАНИЯ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ XX ВЕКА:
МАНДЕЛЬШТАМ, РОЗАНОВ, АВЕРИНЦЕВ**

И. Херльт

Аннотация

В работе рассматривается «филологическая утопия», изложенная в статье «О природе слова» О.Э. Мандельштама, и исследуется дальнейшая судьба этой идеи в русской культуре XX в. Очерчиваются контуры специфической «филологической идеологии»: филологии приписываются нравственные ценности, образуются кружковые структуры и группы, подкрепленные совместным сознанием нравственной, гуманистической миссии.

Ключевые слова: филология, модели сообщества, филологическое самосознание, филологическая утопия, филологическая идеология, О.Э. Мандельштам, Х.У. Гумбрехт, В.Б. Шкловский, В.В. Розанов, С.С. Аверинцев.

Предлагаемая статья посвящена специфической особенности филологического самосознания в русской культуре XX века. Речь идет о тенденции к эмфатическому толкованию понятия «филология», к загрузке его идеями морально-этического или социально-утопического плана. Данная постановка проблемы так или иначе примыкает к характерным для нашего времени рассуждениям о проблематичном статусе филологии в современном мире, о недостаточной релевантности филологической деятельности. Более того, в эпоху, когда повсеместно и с небывалым упорством перестраиваются научные институты и учебные программы, когда целые дисциплины вместе с их давней традицией подвергаются маргинализации или даже ликвидации, в такую эпоху обращение к опыту прежних трудных для филологии исторических констелляций предлагает нам если не выход из кризиса, то по крайней мере более глубокое понимание его характера.

Девяносто лет назад проблемой роли филологии в современном ему мире занялся поэт О.Э. Мандельштам. В статье «О природе слова» (1922) Мандельштам, исходя из вопроса о «единств<е>», о «стерж<не>» [1, с. 175] русской литературы (а шире: русской культуры, русской истории вообще), обращается к филологии как той научной дисциплине, которой надлежит осознать и утвердить «критерий» этого единства [1, с. 173]. Таким образом, филологии, или, скорее, некоему «филологическому духу», якобы исконно присущему русской истории, приписывается потенциал к ее укреплению, к защите ее, русской истории, от грозящих ее тождеству и единству тенденций «распада» и «нигилизм<а>» [1, с. 176, 177]. Есть основание полагать, что О. Мандельштам, автор

знаменитого изречения «Поэзия – это власть» [2, с. 199], связывал эту власть не столько с поэзией, сколько с самим словом. По крайней мере так он пишет в упомянутой статье, приводя в пример В.В. Розанова и его «филологический» взгляд на русскую литературу, подчеркивая при этом, что тот даже не является «поэтом», а «просто разговорщиком или ворчуном вне всякой заботы о стиле» [1, с. 178].

В 2003 году Х.У. Гумбрехт опубликовал книгу под любопытным для нашего контекста названием “The Powers of Philology” («Власть филологии») [3]. Сам факт, что Гумбрехт прибегает к метафоре «власти»¹, нам кажется вполне знаменательным: видимо, он ощущает некую слабость, некий недостаток релевантности своего занятия, своей профессии – и поэтому утверждает эту релевантность с такой риторической мощностью. Если мы зададим себе вопрос, в чем раньше состояла «власть филологии», то следует думать в первую очередь о XIX веке, когда юная еще научная дисциплина действительно обладала властью, вносила свой вклад в создание национальных идентичностей и воображаемых сообществ (в частности, в Восточной и Центральной Европе). Концепция Гумбрехта далека от всего этого: он уподобляет признание власти филологии «наслаждению... фейерверком со всеми его спецэффектами» [3, р. 8] и ратует за возвращение к понятию “Erlebnis” («переживание»), ссылаясь при этом, хотя и косвенным образом, на теоретическое наследие В. Дильтея (см. [3, р. 77]). В «переживании» Гумбрехт ценит именно «невозможность сочетать это понятие с областью коллективного или общественного» [3, р. 84]. Гумбрехт решительно отрекается от какой бы то ни было общественной значимости филологии.

Отметим принципиальную противоположность самого подхода к проблеме филологии в концепциях Мандельштама и Гумбрехта: высоким нравственно-дидактическим стремлениям, заложенным в метафилологических размышлениях Мандельштама, у Гумбрехта соответствует эпатажная редукция филологии до гедонистического «энтузиазма». Таким образом, он избавляет дискурс о роли и значимости филологии от накопленного за столетия идеологического багажа. Но, спрашивается, что останется, если, рассуждая о филологии, мы будем говорить о «спецэффектах», если целью филологического чтения будет «наслаждение» или производство «присутствия» [3, р. 8, 11], а проблемы идентичности, становления личности, общественного сознания, когда-то столь важные для филологического самосознания и утверждения общественной значимости этой дисциплины, останутся за бортом? На «нулевой степени» филологии Гумбрехту не остается ничего иного, как утверждать, что в результате всех попыток привить филологии хоть какую-то релевантность у него остается лишь «искра, а порою даже огонь энтузиазма» [3, р. 83] от филологической деятельности.

Метафора «огня» играет ключевую роль в эссе «О природе слова» О.Э. Мандельштама. Поэт говорит о «неугасаем<ом> ог<не>» филологии, который противопоставляется «антифилологическ<ому> дух<у>», вырвавшемуся «из самых глубин истории» [1, с. 179]. Этот «<a>нтифилологический огонь

¹ Во вступительной главе своей книги Гумбрехт объясняет, что понятие «power», применяемое им, глубоко отличается от употребления этого термина в работах Мишеля Фуко и его последователей [3, р. 5]. Поэтому нам кажется обоснованным перевести название как «Власть филологии» (чему соответствует и немецкая версия: “Die Macht der Philologie”).

изъявляя тело Европы» [1, с. 179]. Почва, где вспыхнул этот огонь, «навек» потеряна для культуры. По Мандельштаму, «Европа без филологии – даже не Америка; это – цивилизованная Сахара, проклятая Богом, мерзость запустения» [1, с. 179]. Ясно, что для него «филология» подразумевает не столько текстологию в узком смысле слова, не архивирование, комментирование, толкование древних текстов – весь «ремесленный» контекст филологической деятельности остается незатронутым. Филология выступает здесь как форма социальной: «Литература – явление общественное, филология – явление домашнее, кабинетное. Литература – это лекция, улица; филология – университетский семинарий, семья. Да, именно университетский семинарий, где пять человек студентов, знакомых друг с другом, называющих друг друга по имени и отчеству, слушают своего профессора, а в окно лезут ветви знакомых деревьев университетского сада. Филология – это семья, потому что всякая семья держится на интонации и на цитате, на кавычках» [1, с. 178].

Перед нами четко и последовательно выстроенная оппозиция: «филология» противопоставляется «литературе», «семья» – «общественности». Целый ряд вопросов и теоретических предпосылок здесь остается незатронутым. Откуда берется такая идея филологии? Почему традиционная аскетическая аура одинокого исследования текстов «в келье скромного филолога» (как Мандельштам писал в шуточном стихотворении 1912 г.) заменяется социальной ситуацией «университетского семинария», где «филология» выступает скорее не в качестве собственной деятельности, а как преподаваемый предмет – если вообще не как институциональная рамка? Что Мандельштам хочет сказать, когда он противопоставляет идиллической картине замкнутой в себе общины филологии литературу как сферу общественную, публичную?

Мы постараемся ответить хотя бы на последний из вопросов с помощью отсылки к идеям немецкого социолога Ф. Тенниса. В своей книге 1887 г. “Gemeinschaft und Gesellschaft” («Общность и общество») Теннис различает две модели человеческих сообществ, два типа общественных связей – общинные и общественные [4]. Наш тезис состоит в том, что концепция филологии у Мандельштама вписывается именно в контекст *общинных*, то есть якобы естественных, не отстраненных, не отвлеченных общественных связей. (У Тенниса «дом» является основной единицей общности, а «очаг» для него – «ядро и суть самого дома» [4, S. 30, 32].)

В ряде статей начала 20-х годов XX века («Пшеница человеческая», «Гуманизм и современность», отчасти и «Девятнадцатый век») Мандельштам выстраивает концепцию постполитической, идиллической общности, которая должна прийти на смену завершившейся эпохе исторических катастроф (см. [5, с. 40]). Таким образом, он разделяет извечную мечту русских мыслителей XIX века, которые сопротивлялись всеохватывающей модели гегельянской историчности с заложенным в ней требованием политизированной «литературы». Литература, как сфера общественных споров, была затравлена историей и политикой. Поэтому Мандельштам развивает свою утопию теплой, домашней общности под знаком «филологии».

Не забудем, однако, что у Мандельштама наряду с семейной, домашней, интимной семантикой в том же эссе появляется и совершенно иной оттенок

значения слова «филология»: это *империализм*. Мандельштам приводит в пример поэта и филолога И.Ф. Анненского, которого он называет «представител^{<ем>} эллинизма героического, филологии воинствующей»: «Стихи и трагедии Анненского можно сравнить с деревянными укреплениями, городищами, которые выносились далеко в степь удельными князьями для защиты от печенегов, навстречу хазарской ночи» [1, с. 180].

Итак, филология не только олицетворяет интимность, семейный очаг и идиллическое сообщество университетского семинария, она и демаркирует границу между Европой и Азией, между цивилизацией и варварством. Более того, Мандельштам рассматривает русскую историю сквозь призму филологии: по его мнению, ее отличительной чертой является исконная связь со словом. Там, где эта связь обрывается, сразу возникает «нигилизм», понятие для Мандельштама равнозначное «отпадению^{<ю>}», «отлучению^{<ю>}» от языка, от слова [1, с. 177].

И он приводит в пример В.В. Розанова, жизнь которого, как отмечает Мандельштам, «прошла в борьбе за сохранение связи со словом, за филологическую культуру» [1, с. 177]. Цитируем из статьи «О природе слова»: «Одна книга Розанова называется “У церковных стен”. Мне кажется, Розанов всю жизнь шарил в мягкой пустоте, стараясь нащупать, где же стены русской культуры. Подобно некоторым другим русским мыслителям, вроде Чаадаева, Леонтьева, Гершензона, он не мог жить без стен, без “акрополя”. Все кругом поддается, все рыхло, мягко и податливо. Но мы хотим жить исторически, в нас заложена неодолимая потребность найти твердый орешек Кремля, Акрополя, все равно, как бы ни называлось это ядро, государством или обществом. Жажда орешка и какой бы то ни было символизирующей этот орешек стены определяет всю судьбу Розанова...» [1, с. 178].

Филология значит не что иное, как связь между словом и общностью. Там, где эта связь прервана, наступает хаос. Филология здесь обозначает оперативное взаимодействие между внутренней сутью общности, с одной стороны, и идеей ее отграничения от внешнего мира – с другой. Коммуникация между внешней границей общности и внутренней сутью, необходимое взаимодействие между ядром и скорлупой орешка – вот что для Мандельштама начала 20-х годов символизирует понятие филологии.

Эта филология начинается в университетской аудитории и оттуда захватывает весь мир. Мы тут имеем дело с экстремальным расширением сферы действия филологии. Спрашивается, насколько такое явно парадоксальное понятие, вмещающее в себя одновременно интимность/домашность и общественность/публичность, внешнюю границу и внутренний стержень, функцию и суть, – насколько такое понятие может вообще быть когерентным и продуктивным? Полагаем, однако, что мандельштамовское определение филологии при всей своей очевидной идиосинкратичности все-таки содержит некоторые ключевые элементы, рассмотрение которых поможет нам лучше понять специфику филологического самосознания и создания сообществ под знаком «филологии» в русской культуре XX в.

Проследим теперь, как Мандельштам в других своих текстах работает с этой концепцией филологии. Для этой цели представим несколько филологических констелляций из его автобиографической прозы 20-х годов. Первую мы находим

в главе «Книжный шкаф» из повести «Шум времени». Мандельштам здесь набрасывает историю ментальности русской интеллигенции конца XIX в. В конце главы имеется эпизод, вполне примечательный для нашего контекста: «Семен Афанасьич Венгеров, родственник мой по матери... ничего не понимал в русской литературе и по службе занимался Пушкиным, но “это” он понимал. У него “это” называлось: о героическом характере русской литературы. Хорош он был с этим своим героическим характером, когда плелся по Загородному из квартиры в картотеку, повиснув на локте стареющей жены, ухмыляясь в дремучую, муравьиную бороду!» [1, с. 17].

Мандельштам здесь открыто намекает на книгу Венгерова «Героический характер русской литературы» (1911), но более существенной нам кажется отсылка к картотеке профессора: она символически представляет грандиозно задуманные библиографические проекты Венгерова, в первую очередь его «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых», шесть томов которого вышли в 1889–1904 гг. Как и остальные библиографические проекты Венгерова, и этот остался незаконченным; опубликованные до 1904 г. выпуски содержали статьи на буквы А, Б, часть материалов на букву В и некоторые статьи по другим буквам. Оглушительная масса собранного материала взяла верх над структурирующим умом составителя.

Приведя в конце главы под названием «Книжный шкаф» фигуру первого директора основанной в 1917 г. «Российской книжной палаты», Мандельштам иронизирует над изжитой концепцией наивно-позитивистской филологии, подчеркивая, что знаменитый пушкиновед Венгеров «ничего не *понимал* в русской литературе». Венгеров выступает представителем «собирательной филологии» XIX в. (см. [6, S. 263, 266]), филологии, которая довольствуется собиранием и документированием данных и которая сталкивается здесь с новыми, философски обоснованными требованиями в адрес филологической науки. Ведь еще Ф. Ницше, сам по образованию филолог-классик, подводя итоги первой героической волны филологической работы новейшего времени, критиковал современную ему филологию за то, что она собирает материал, не имея понятия о том, как его категоризировать, не говоря уже о проникновении в его суть, о понимании. «Самое трудное – судить», – пишет Ницше во фрагменте «Мы, филологи» [7, S. 326].

Дремучий лес на лице Венгерова – это не только остаток «героического периода» русской литературы, но и символ беспредельного хаоса, в который превращается картотека филолога, если тот не обладает концепцией герменевтического проникновения или формально-структурного расположения собранного материала. Это тупик филологического знания – знания, которое не знает, что делать с собой, знания, которому катастрофически не хватает методологического и философского самосознания.

Не следует забывать при этом, что среди слушателей знаменитого пушкинского семинария С.А. Венгерова порою находился и автор «Шума времени». По своей методологической концепции, Венгеров, безусловно, был приверженцем идеи «литературы» в противоположном «филологии» смысле – если применить установленную Мандельштамом оппозицию: для него литература была «кафедрой, с которой раздавалось поучительное слово» [8, с. 5]. Но в то же

время есть свидетельства о том, что Венгеров был на редкость любезным научным руководителем своих студентов, главная заслуга которого, по словам одного бывшего участника его семинариев, заключалось именно в том, что он «создал большую энергичную семью молодых исследователей русской литературы XIX века» [9, с. XXXIII] (курсив наш. – *Й.Х.*).

Противопоставим теперь Венгерovu другой «филологический» персонаж из прозы Мандельштама. В очерке «Шуба» 1922 г. он следующим образом описывает В.Б. Шкловского: «...зазорнейший и талантливейший литературный критик нового Петербурга, пришедший на смену Чуковскому, настоящий литературный броневик, весь буйное пламя, острое филологическое остроумие и литературного темперамента на десятерых» [1, с. 273]. В голодную зиму 1920–1921 гг. художники и ученые жили в петроградском «Доме Искусств» (бывшем особняке торговца Елисеева) в драматических обстоятельствах. «Не за что было нас кормить государству, и ничего мы не делали», – пишет Мандельштам [1, с. 273]. Но Шкловский, «как настоящий захватчик, утвердился революционным порядком в елисеевской спальне, с камином, двуспальной постелью, киотом и окнами на Невский» [1, с. 273].

Примечательно, что в описании Шкловского встречаются мотивы власти, «захвата», то есть весь «империалистический» пласт из теоретических размышлений о природе слова и о филологии того же 1922 г. Читаем дальше: «На него было любо смотреть, и елисеевская бывшая челядь его уважала и боялась. Вот он возвращается с огромным мешком картона на спине из экспедиции по дрова. Комнаты нам недотапливали, зато тут же в доме находились девственные залежи топлива: брошенный банк, около сорока пустых комнат, где по колону навалено толстых банковских картонов. Ходи кому не лень, но мы не решались, а Шкловский, бывало, пойдет в этот лес и вернется с несметной добычей. Затрещит затопленный канцелярским валежником камин, а хозяин разбрасает по глянцеvitым ломберным елисеевским столам и на кровати, и на стульях, и чуть ли не на полу листочки с выписками из Розанова и начнет клеить свою удивительную теорию о том, что Розанов писал роман и основал новую литературную форму» [1, с. 273].

Мандельштам здесь пишет о создании статьи «Розанов», которая впоследствии была включена Шкловским в книгу «Теория прозы» (1925). Но в процессе превращения никому уже не нужной банковской картотеки в топливо кроется глубокий символический смысл: мы становимся свидетелями разграбления и экспроприации архива с целью создания чего-то нового. И это новое не появляется в результате простого перераспределения старых данных, наоборот: нет ни малейшей генетической связи между банковским архивом и той новой филологией, которую здесь создает В.Б. Шкловский. Старые карты сожжены, и захват новой территории маркируется разбрасыванием «листочк<ов> с выписками» на мебели бывшего особняка Елисеевых.

Сравним теперь описанное здесь рождение новой филологии с очерком о Венгерове из «Шума времени». Там Венгерov, представитель филологии, не владеющей собственным импульсом к собиранию данных, не способной концептуально постигать и структурировать собранный материал. Здесь Шкловский, ровесник Мандельштама, репрезентант нового филологического духа,

отличающегося своим децизионизмом и своим стремлением к завладению новой территорией. Эта новая филология уничтожает одни данные, чтобы создать другие и разместить их по собственному желанию. Мотив «растопленного камня», конечно, напоминает нам «филологический огонь». Здесь присутствуют элементы теплой домашности из теоретических размышлений Мандельштама о новой эпохе человечества под знаком филологии. Нет оснований сомневаться в том, что для Мандельштама именно В.Б. Шкловский является легитимным наследником и продолжателем филологии в новой эпохе [11, с. 82].

И все-таки Шкловский олицетворяет только *одну* сторону филологической утопии Мандельштама: он представляет дух филологического империализма, который здесь кое-как еще сочетается с домашностью – но это сочетание трещит по швам. Аспекты власти и захвата явно преобладают. Домашность и теплота комнаты Шкловского построены на разрушении домашности другой, предыдущей эпохи. Мандельштам, хотя явно любит энергичным новаторским импульсом Шкловского, не забывает, однако, о разрушительных и сомнительных с нравственной точки зрения эффектах подобного захватнического проекта. Очерк «Шуба», это, на первый взгляд, похвальное слово «филологу-захватчику» и его воле к власти, завершается рассказом о трагической судьбе старухи, обездоленной в перипетиях послереволюционной России: «Тяжело мне в моей шубе, как тяжела сейчас всей Советской России случайная сытость, случайное тепло, нехорошее добро с чужого плеча. Я спешу пройти в ней поскорее мимо окна гастрономического магазина, спешу рассказать знакомым, что заплатил за нее недорого, но больше всего мне совестно за мою шубу перед старушонкой, что ютится на кухне нашей квартиры, которая нарочно ездила прошлой осенью в Москву за вещами после покойного сына, на обратном пути добрые люди посоветовали ей сдать вещи в багаж и у нее выкрали из багажа весь ее жалкий скарб, все, буквально все заработанное за всю жизнь» [1, с. 274].

Перед нами также сцена захвата, экспроприации. Эпизод о Шкловском и эпизод о несчастной старушонке мы должны читать во взаимном преломлении. В процессе трансформации филологии были утеряны не только архивы и картотеки, не только пресловутый «героический характер» русской литературы, но и нравственная ответственность филологии, то есть та идея об идеальной модели сообщества, которая лежала в основе филологической утопии Мандельштама. «Мне совестно за мою шубу», – пишет Мандельштам. Шкловскому, наоборот, не было совестно, только поэтому он мог стать хозяином елисейской спальни и основателем новой филологии.

Чтобы лучше понять, в чем заключается разница между филологической утопией Мандельштама и ее частичным осуществлением в лице В.Б. Шкловского, необходимо поговорить и об авторе, у которого Мандельштам черпал свое своеобразное сочетание интимности и филологии. Речь идет о В.В. Розанове. Филологический эпизод со Шкловским в «Шубе» проникнут отсылками к творчеству этого автора. Работая с листочками и карточками, Шкловский применяет творческий метод автора «Опавших листьев». В статье «Розанов», происхождение которой здесь описывается, Шкловский говорит о трех книгах Розанова, в особенности об «Уединенном» и «Опавших листьях (короб первый и второй)». В них картотека является структурным принципом: это серии не связанных

между собой разрозненных записок и наблюдений. Методологический тупик филологии конца XIX – начала XX в. здесь оборачивается продуктивным эстетическим принципом: это картотека без энциклопедии, без наложенной структуры, где каждая карточка стоит за себя и проникает вглубь какого-то явления, какой-то мысли, какого-то ощущения самого автора.

Шкловский называет эти книги «интимны<ми> до оскорбления» и в них находит некий прием «последней домашности»: «В эти книги вошли целые литературные, публицистические статьи, разбитые и перебивающие друг друга, биография Розанова, сцены из его жизни, фотографические карточки и т. д.» [12, с. 124]. По Шкловскому, книга Розанова «Опавшие листья» должна быть понята как «героическ<ая> попытк<a> уйти из литературы». Но тем самым он создал новую литературу: «Розанов ввел в литературу новые, кухонные темы. Семейные темы вводились раньше; Шарлотта в “Вертере”, режущая хлеб, для своего времени была явлением революционным, как и имя Татьяны в пушкинском романе, – но семейности, ватного одеяла, кухни и ее запаха (вне сатирической оценки) в литературе не было» [12, с. 125].

Шкловский, конечно, прав, когда констатирует, что и умышленная «нелитературность» розановских записок рано или поздно сольется с литературным процессом, впишется в «литературное поле» (говоря современным языком). Нас, однако, здесь не интересует проза Розанова как литературный факт, нас интересует собственно *филологическая идеология*, которая подспудным образом выражается в его антилитературных выпадах. Интимность и домашность Розанова – не что иное, как побег из «излишней», а тем самым и безнравственной «видности» [10, с. 144] и общественности напечатанной литературы. Цитируем из «Опавших листьев»: «Не литература, а *литературность* ужасна; литературность души, литературность жизни. То, что всякое *переживание* переливается в играющее, живое слово: но этим все и кончается, – само *переживание* умерло, нет его. Температура (человека, тела) остыла от слова» [10, с. 92].

Оказывается, что в русской интеллектуальной истории XIX и XX вв. мы не только сталкиваемся с пресловутым «литературоцентризмом», но и с противоположной ему тенденцией сходить с «трибуны», в которую литература превратилась в течение XIX в. У Розанова этот уход из общественной жизни (то есть из литературы) выражается в установке на рукописность, на частность письма. И именно эту противоречивую идею не-общественной, не-публичной, интимной литературы (но все-таки литературы) Мандельштам впоследствии называет «филологией». «Хорошей», интимной, чистой филологии противопоставлена «злая», публичная, отторгнутая от живого чувства литература.

Отметим, что у Розанова понятие «филология» хотя и употребляется, но не наделяется утопическим смыслом, как у Мандельштама. В «Уединенном» он называет человека «вечным филологом». Но в той же книге «филология» выступает в ряде других феноменов, свидетельствующих о пагубной вторичности современной эпохи. Ср.: «Будет больше научности, больше филологии, даже добропорядочности больше будет, но *позолоты времен* не будет. И не будет вдохновения» [10, с. 153]. В той же книге Розанов открыто издевается над «чужд<ыми> и глух<ими> “академическ<ими>” издания<ми> Пушкина», отмечая, в частности, вышедшее с 1907 г. венгерское издание Пушкина в серии

«Библиотека великих писателей» [10, с. 109]. Таким образом, Розанов с его установкой на непосредственность «переживания» парадоксальным образом встречается с подчеркнуто антиидеалистической концепцией филологии Х.У. Гумбрехта. Мандельштам, в свою очередь, берет у Розанова антилитературные выпады и на их основе строит свою *филологическую* утопию. То, что у Розанова затрагивалось как проблема на уровне эстетики (пошлость письма с установкой на видность, пошлость печати), у Мандельштама становится проблемой на уровне этики: литература разрушает домашность и гармоничность подкрепленной совместными нравственными идеалами общности людей. Филологическая интимность и домашность у него расширяются до уровня социальных принципов. Мандельштам мечтает о не-общественной, не отчужденной социальной архитектонике. Исходя из розановских упреков в адрес Гутенберга, Мандельштам как раз стремится к осуществлению общности, а не к радикальному уединению, как его предшественник (см. [13, с. 117]).

Разумеется, мы не должны забывать об историко-социальном фоне, на котором разыгрывалась эта дискуссия: уже из очерка о Шкловском явствует, что решающим фактором, установившим границу между старым и новым типом филологии, была Революция. Посмотрим, как Мандельштам описывает роль Революции по отношению к интимности, к семье и к семейному архиву. Знаменательно, что он пользуется именно филологическими понятиями, чтобы изобразить ее разрушительную мощь. В «Шуме времени» читаем: «Там, где у счастливых поколений говорит эпос гекзаметрами и хроникой, там у меня стоит знак зиянья, и между мной и веком провал, ров, наполненный шумящим временем, место, отведенное для семьи и домашнего архива» [1, с. 41].

Из этой цитаты становится ясным, что мысли Мандельштама об интимности и филологии должны быть поняты как попытка компенсации той потери, которую означала для его поколения революция с ее «захватами» и экспроприациями. Своей филологической утопией Мандельштам хочет придать XX столетию утраченную «теплоту» домашности. Ср. в «Слове и культуре» (1921): «Ныне происходит как бы явление глоссолалии. В священном исступлении поэты говорят на языке всех времен, всех культур. <...> Как комната умирающего открыта для всех, так и дверь старого мира настежь распахнута перед толпой. Внезапно все стало достоянием общим. Идите и берите» [1, с. 171–172]. Е.А. Тоддес отметил, что тот самый принцип «идите и берите» появляется и в очерке о Шкловском, в сцене захвата елисеевской спальни: во вторичном использовании банковского архива – и в создании новой филологии [11, с. 82]. Этому процессу «рождения» новой филологии присущ момент разрухи, аморальности. Следовательно, есть основание предположить, что филологическая утопия Мандельштама была задумана, чтобы дисциплинировать эту разрушительную силу новой филологической науки. В принципе, он хочет невозможного: он борется со зловещей экспроприацией, декларируя все общественное пространство потенциальной сферой домашности. Но уже эпизод о несчастной старушонке доказывает, что подобное растяжение домашности до универсальных размеров (ср. «пафос всемирной домашности» [1, с. 193]) равняется ее неизбежному разложению. Семейность и общественность остаются непримиримыми. Так, мы встречаем у Мандельштама одновременно эмфатическое восприятие новой эпохи

под знаком «идите и берите» и отталкивание нравственного релятивизма, который лежит в основе такого замечательного явления, как новая филология Шкловского. Данная проблема так и остается нерешенной у Мандельштама. Дальнейшая история филологических утопий в России отличается скорее противоположными тенденциями к самоизоляции, к созиданию домашности за закрытыми дверями – за счет утопической инклюзивности.

Ностальгия по всемирной домашности под знаком филологии – это не только ретроградная утопия, это больше, это реакция на структурные изменения на полях литературы и науки, которые латентным образом осуществлялись начиная с первой трети XIX в. Это реакция на то, что у Розанова называется «литературностью», то есть установка письма на видность, на публичность и связанные с этим эффекты «искусственности и человеческой отчужденности» [13, с. 122]. Революция дала этой тенденции решающий толчок: казалось бы, отныне право на существование имеет только слово видное, высказанное с учетом его общественной значимости.

Не случайно у такого яркого критика большевиков, как И.А. Бунин, мы находим тот же мотив «настежь» распахнутой двери, как у Мандельштама. В революционном дневнике «Окаянные дни» читаем: «Русская литература развращена за последние десятилетия необыкновенно. Улица, толпа начала играть очень большую роль. Все – и литература особенно – выходит на улицу, связывается с нею и подпадает под ее влияние. <...> В тысячелетнем и огромном доме нашем случилась великая смерть, и дом был теперь растворен, раскрыт настежь и полон несметной праздной толпой, для которой уже не стало ничего святого и запретного ни в каком из его покоев» [14, с. 53, 55].

У Шкловского тот же момент окрашивается весьма положительным оттенком. Так, он пишет в «Третьей фабрике»: «Я попал в профессорскую квартиру с полками. Эти полки стояли по стенам и выходили на середину комнаты. <...> Полки потом сгорели во время великой революции, а книги, книги профессоров разбрелись по свету. Сейчас они собираются в новые компании» [15, с. 353]. Шкловского интересует перераспределение книг, создание «новых компаний», то есть новых, неожиданных идейных комбинаций, иными словами – прогресс науки. Ему не до личной судьбы профессора, у которого он здесь оказался на квартире (речь идет о Бодуэне де Куртене).

То, что мешало Розанову и Бунину, установка на «распахнутость» жизни, уже превратилось в принцип у Шкловского и других представителей эпохи 20-х годов. «...Они гигантски верили в жизнь, распахнутую революцией», – пишет Л.Я. Гинзбург о специфической ментальности этого времени [16, с. 192]. И то же самое у Мандельштама толкуется – имплицитным способом – как нравственная дилемма: к «гигантской вере» прибавляется осторожное недоверие по отношению к побочным эффектам подобной «распахнутости» жизни.

Это недоверие впоследствии выступает совершенно явным образом в знаменитых строках «Четвертой прозы», посвященных филологу и пушкинисту, директору Литературного музея, открытого в 1928 г. в Доме Герцена на Тверском бульваре, Д.Д. Благому: «В Доме Герцена один молочный вегетарианец – филолог с головенкой китайца – этакий ходя – хао, хао, шанго-шанго – когда рубят головы, из той породы, что на цыпочках ходят по кровавой советской

земле, некий Митька Благой – лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки, – сторожит в специальном музее веревку удавленника Сережи Есенина. А я говорю – к китайцам Благого – в Шанхай его, к китаезам! Там ему место! Чем была матушка филология и чем стала! Была вся кровь, вся нетерпимость, а стала пся-кровь, стала – все-терпимость...» [1, с. 94]. Примечательно, что в облике Благого мы сталкиваемся с двумя отрицательными качествами советской филологии (в глазах Мандельштама): с одной стороны, это азиатская негуманность и жестокость, с другой – это все-терпимость. В конечном счете, это одно и то же: беспринципный моральный релятивизм «буддийского» элемента, уловленный Мандельштамом и в физиономии лица Благого, и отсутствие барьеров и иерархий, структурирующих пространство литературы.

В едва ли не апокалиптической картине в конце эссе «О природе слова» Мандельштам пишет о ситуации рождения нового общественного порядка, новой культуры. А что тогда остается от старой? Читаем: «Отшумит век, уснет культура, переродится народ, отдав свои лучшие силы новому общественному классу, и весь этот поток увлечет за собой хрупкую ладью человеческого слова в открытое море грядущего, где нет сочувственного понимания, где унылый комментарий заменяет свежий ветер вражды и сочувствия современников» [1, с. 186]. Не случайно такой ключевой филологический жанр, как комментарий, здесь возникает только вследствие полного засыхания всего того, что когда-то отличало «настоящую» филологию. По Мандельштаму, не существует четкой границы между филологией и герменевтикой, скажем больше: его филологический идеал включает в себя герменевтический подход. Филология без «понимания», без интереса, без того, что в ином месте Мандельштам называет «литературной злостью», оказывается мертвой.

Горький отчет о судьбе филологического идеала в советской действительности переплетается здесь с другой линией истории понятия «филология». В дебатах о наследии и о роли филологии в новой научной обстановке рубежа XIX и XX вв., когда под натиском историзма, позитивизма и герменевтической парадигмы филология из единственного и ведущего подхода к письменным памятникам превратилась в «метод среди других» [17, S. 232], не раз прозвучала метафора «матери» филологии (см. [18, S. 625]). Уже в программных выступлениях 10-х годов XX столетия подобная характеристика филологии носила оборонительный, отчасти и ностальгический характер. В «материнстве» филологии звучит весь контекст домашности и теплой общности, столь ценимый Мандельштамом и опровергаемый теперь общественной действительностью. Не забудем, что подобное прощание с филологией, с филологическими утопиями мы наблюдаем и на Западе, то есть прежде всего в немецкоязычном научном мире. Так, например, филолог В. Беньямин в 1931 г. сетует на «эклетический» и «насквозь нефилологический» характер современной германистики [19, S. 455] (см. также [20, S. 209, 217]).

Институционализируемая филология советского периода не имеет уже ничего общего с идеалами, провозглашенными в мандельштамовских эссе начала 20-х годов. Сам Мандельштам с середины 20-х годов не употребляет слова «филология» в его утопической ипостаси. Как ни странно, параллельно этому отходу – не от самого идеала, но от связывания его с филологией – у Мандель-

штама в советской науке конца 20-х – начала 30-х годов намечается падение курса понятия «филология». Об этом свидетельствует хотя бы статья «Филология» в 11-м томе «Литературной энциклопедии»: «...вскрывая сугубо субъективный и идеалистический характер якобы “специфического” метода Ф. – герменевтики, советская наука продолжает критически использовать подлинные достижения филологической техники – *текстологию*, анализируя и интерпретируя огромный материал собранных Ф. фактов на базе специальных дисциплин, работающих диалектико-материалистическим методом. Напротив, на Западе в XX в. и особенно сильно в послевоенный период распад буржуазного научного мировоззрения знаменуется рядом попыток возродить энциклопедизм Ф., утвердить Ф. как основополагающую для исторических наук дисциплину, отстоять и расширить область применения идеалистической герменевтики...» [21, ст. 730].

Имеет место редукция филологии до базового уровня чистой текстологии. Примечательно, что и сам Мандельштам в своем собственно «филологическом» эссе 1933 г., в «Разговоре о Данте», ни разу не употребляет понятия «филология» – напротив, он провокационно декларирует, что намерен «создать подлинный антикомментарий к работе целого ряда поколений схоластов, ползучих филологов и лжебиографов» [1, с. 252–253]. Свои попытки новаторского подхода к анализу «живого» поэтического текста он формулирует с подчеркнутой установкой на естественнонаучные, биологические и медицинские термины.

Итак, говоря о ситуации «филологии» в начале 30-х годов XX века, мы можем констатировать тройное отречение от эмфатических притязаний, заложенных так или иначе в проекте филологии: это, *во-первых*, переориентация самого Мандельштама, давшего себе отчет в неудаче компенсаторной идеи о всеохватывающем одомашнивании социальной жизни под знаком «филологии» (то есть попытки примирить представителей старой, дореволюционной словесной культуры с распахнутостью жизни новой эры); *во-вторых*, стремление советской науки редуцировать филологию до ее ремесленных, технических аспектов (чтобы не вдаваться в «опасные» с идеологической точки зрения контексты герменевтики или философии жизни); и, *в-третьих*, фактическая потеря центральной позиции филологии в методологии гуманитарных наук, процесс, который уже намечался достаточно ясно с конца XIX в. Трагизм компенсаторного проекта Мандельштама заключался в том, что та филология в эмфатическом смысле, к которой он обращается столь внушительно в работе «О природе слова», вот уже несколько десятилетий лежала в агонии. С другой стороны, мы можем полагать, что именно в этом заключалась притягательность и, так сказать, оперативность термина «филология» для Мандельштама: она сама уже относилась к тем идеям гуманизма, «изъяты<м> из употребления и подспудны<м>», о которых ведется речь в статье «Гуманизм и современность» [1, с. 207].

Можно было бы ожидать, что отмеченным Мандельштамом вырождением «матушки» филологии, а тем более официозной декларацией «Литературной энциклопедии» провозглашен конец всему эмфатическому обременению филологии в русской культуре XX в. Но история гуманитарного мышления обилует парадоксальными переворотами, эффектами того, что немецкий историк Р. Козеллек называл «современностью несовременного». Вопреки фактической изжитости проекта филологии, вопреки всем попыткам отнять у нее (воображаемый)

потенциал создания сообществ, мы можем наблюдать некое латентное, подспудное существование отдельных элементов филологической утопии и во второй, и в последней трети XX в. Мы не утверждаем, что именно Мандельштам положил начало этим тенденциям, отметим только, что он сумел их сформулировать с присущей ему невероятной находчивостью.

«Компенсаторный потенциал» филологии дает о себе знать в практике филологических кружков и в специфической форме речевого поведения. Конструируются отграниченные пространства, где имеет место кружковое общение, говорение цитатами и аллюзиями – наподобие того, что Мандельштам называл «семейным» кодом филологического общения. Пусть своего рода фактическим доводом латентного существования филологической утопии в советской эпохе послужит статья в 3-м издании «БЭС» [22]. Ее автором является не кто иной, как С.С. Аверинцев, выдающийся русский филолог второй половины XX в. (почти идентичный текст его же авторства мы находим в «Краткой литературной энциклопедии» [23, ст. 975–976]).

В конце статьи Аверинцев говорит о современных «устремлениях к формализации гуманитарного знания по образу и подобию математического» [22, с. 411]. Однако подобные устремления устранить субъективный элемент филологии ему кажутся неприемлемыми: «...в традиционной структуре Ф., при всей строгости ее приемов и трезвости ее рабочей атмосферы, присутствует нечто, упорно противящееся подобным попыткам. Речь идет о формах и средствах знания, достаточно инородных по отношению к т. н. научности – даже не об интуиции, а о “житейской мудрости”, здравом смысле, знании людей, без чего невозможно то иск-во понимать сказанное и написанное, каковым является Ф. <...> Строгость и особая “точность” Ф. состоят в постоянном нравственно-интеллектуальном усилии, преодолевающем произвол и высвобождающем возможности человеческого понимания. Как служба понимания Ф. помогает выполнению одной из главных человеческих задач – понять другого человека (и др. культуру, др. эпоху), не превращая его ни в “исчислимую” вещь, ни в отражение собств. эмоций» [22, с. 411].

«Житейская мудрость» и «служба понимания» – вот отголоски того же руслу облечения филологии ореолом нравственных ценностей, которое мы могли наблюдать в статьях Мандельштама первой половины 20-х годов. Еще ярче выражена эта преемственность в «Похвальном слове филологии» Аверинцева, опубликованном в журнале «Юность» в 1969 г.: здесь ведется речь об «истинных задачах» филологии «перед жизнью, перед современностью, перед людьми» [24, с. 101]. Подобные высказывания мы находим и у других выдающихся российских филологов советского и постсоветского времени. «Филология как нравственность» – так программно звучит название заметки М.Л. Гаспарова, опубликованной в 10 номере «Литературного обозрения» в 1979 г. [25]. Для Д.С. Лихачева филология сосредоточивается вокруг «смысла» текста, то есть для него существенным является именно герменевтический потенциал, который в 30-е годы старались отнять у филологии [26, с. 204–205]. Отсюда и для Лихачева только маленький шаг до максимального растяжения сферы действия филологии – наподобие того, что мы могли наблюдать у Мандельштама: «...филология лежит в основе не только науки, но и всей человеческой культуры» [26, с. 206].

Есть все основания полагать, что подобная убежденность в нравственной миссии и в общественной значимости филологии была составной частью профессионального самосознания филологов в России XX в. – этой убежденности сопутствует, как правило, сознание о постоянных угрозах самой дисциплине и связанным с ней гуманитарным ценностям. Таким образом, ореол филологии как некоей альтернативной модели сообщества просуществовал до наших дней. Филологическая идеология наделяет своих приверженцев профессиональной самоуверенностью тогда, когда «объективные» показатели ценности филологической деятельности падают. Больше того, история гуманитарных наук в России не может быть рассмотрена без учета той специфической тенденции к ограждению себя от якобы враждебного окружающего социума – при одновременном стремлении к нравственному воздействию на этот социум.

На этом фоне мы должны видеть «острова» филологической утопии XX в., как, например, встречи советских структуралистов на летних школах Тартуского университета или же домашние семинары московских филологов в 70–80-х годах. И это только самые поверхностные явления. Подобное имело и имеет место в той или иной форме во многих других местах. Здесь филология практиковалась как форма общения в отграниченной от публики сфере теплой домашности. Б.М. Гаспаров, который был участником летних семиотических школ, писал о том, что там царила некая герметичность, некий дух блестящей изоляции от окружающего советского социума. «Независимость достигалась не внешним освобождением, но внутренним замыканием» [27, с. 280]. Дальше он говорит об «идеальном коммуникативном единстве», в котором «стирались границы между “жизнью” и “наукой”, между дискуссиями в аудитории и дружескими разговорами» [27, с. 284].

Об этом свидетельствовал уже сам специфический код, который использовали при общении приверженцы тартуско-московской школы. «Владение этим имманентным языком, – отмечает Гаспаров, – обеспечивало общение внутри сообщества и преграждало путь постороннему» [27, с. 285]. Так на уровне коммуникативного кода подтверждается идея Мандельштама о семейности филологического общения. Кажется, что в Тарту осуществились идеи Мандельштама о филологической общине, с той только (правда, существенной) разницей, что тартуская община представляла собой, по Гаспарову, «братство посвященных» [27, с. 292], что она была возможна лишь при закрытых дверях. Внутри филологической общины реализуется якобы потерянное в «распахнутой жизни» общества специфическое уважение к слову, причем к слову не только поэтическому, но и научному, то есть к слову филологических исследований. Характерными в этом смысле являются слова поэта и филолога О.А. Седаковой: «Мы читали ученые статьи как стихи, как нечто, возвышающее (возвышающий обман, возвышающую правду? – кто об этом думает в юности) наше существование» [28, с. 263].

В обращении “*Lectoribus nostris*”, открывшем в 1994 г. серию выпусков журнала “*Philologica*”, мы находим подтверждение нашему тезису о латентном существовании филологической утопии: за сетованием на «резкое падение общей филологической культуры» и даже на «вырождении <e> русской филологии» [29, с. 7] следует изъявление намерения «создать своего рода филологический

“оазис”» [29, с. 8] для всех желающих противоборствовать упомянутым тенденциям. В подобном проекте мелькает мандельштамовская ностальгия по филологической общности, а заодно и злость в адрес предателей этого проекта. Не трудно было бы доказать, что филологическая идеология является именно «идеологией», то есть комплексом идей, обусловленных специфическими социально-историческими обстоятельствами, связанных с особыми мировоззренческими тенденциями. Легко утверждать, как это делает Х.У. Гумбрехт в конце своей книжки о «Власти филологии», что «современные общества без труда бы выжили, без нашей работы и без финансовых пожертвований, делающих эту работу возможной» [2, р. 83]. Спрашивается, однако, каковым было бы современное общество без филологии и насколько мы хотели бы в нем жить.

Обратимся еще раз к заметке 1923 г. «Гуманизм и современность», где Мандельштам пишет о том, что гуманистические ценности «только ушли, спрятались, как золотая валюта, но, как золотой запас, они обеспечивают все идейное обращение современной Европы и подспудно управляют им тем более властно» [1, с. 207]. Нам кажется, что опыт русской филологии XX века в своих лучших ипостасях может служить иллюстрацией приведенных слов поэта. Отмеченная нами парадоксальность идейно насыщенной концепции филологии в русском контексте способствует как раз ее гибкости, ее приспособляемости. Филология всегда была в центре и далеко за его пределами, была орешком и скорлупой, внутренней сутью и внешней границей – была «узкой» текстологией и широкой «службой понимания» древних эпох и дальних культур. В трудные для нее периоды она способна отступить и сосредоточиться на своих «технических» аспектах (архивировании, комментировании, редакции текстов), не отрекаясь при этом ни от своего нравственного потенциала, ни от своей общественной миссии.

Summary

J. Herlth. Characteristics of Philological Self-Consciousness in 20th Century Russian Culture: Mandelshtam, Rozanov, Averintsev.

Starting from an analysis of the “philological utopia” presented by O. Mandelshtam in his essay “On the Nature of the World”, the present article is an examination of the fate of this idea in 20th century Russian culture. The contours of a specific “philological ideology” are highlighted which we find at work in the Russian discourse on philology, namely the tendency to assign moral values to philological research and to form groups and circles whose members are united by a common moral and humanistic mission.

Key words: philology, models of community, philological self-consciousness, philological utopia, philological ideology, O.E. Mandelshtam, H.U. Gumbrecht, V.B. Shklovsky, V.V. Rozanov, S.S. Averintsev.

Литература

1. *Мандельштам О.Э.* Сочинения: в 2 т. – М.: Худож. лит., 1990. – Т. 2. Проза. – 464 с.
2. *Мандельштам Н.Я.* Воспоминания. – М.: Согласие, 1999. – XX, 576 с.
3. *Gumbrecht H.U.* The Powers of Philology. Dynamics of Textual Scholarship. – Urbana a. Chicago: Univ. of Illinois Press, 2003. – 93 p.
4. *Tönnies F.* Gemeinschaft und Gesellschaft. Abhandlung des Communismus und des Socialismus als empirischer Culturformen. – Leipzig: Fues, 1887. – XXX, 294 S.

5. *Toddес* Е.А. Поэтическая идеология // Лит. обозр. – 1991. – № 3. – С. 30–43.
6. *Wegmann N.* Im Reich der Philologie. Vom Sammeln und Urteilen // Konkurrenten in der Fakultät. Kultur, Wissen und Universität um 1900. – Hrsg. v. C. König u. E. Lämmert. – Frankfurt a. M.: Fischer, 1999. – S. 260–272.
7. *Nietzsche F.* Wir Philologen // Werke in drei Bänden. – Hrsg. v. K. Schlechta. – Bd. 3. – Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft, 1997. – S. 323–332.
8. *Венгеров С.А.* Очерки по истории русской литературы. – СПб.: Тип. т-ва «Общественная Польза», 1907. – 492 с.
9. *Фомин А.Г.* С.А. Венгеров как профессор и руководитель пушкинского семинария // Пушкинский сборник. Памяти профессора Семена Афанасьевича Венгерова. – М.; Петроград: Гос. изд-во, 1923. – С. X–XXXIII.
10. *Розанов В.В.* Уединенное. – М.: Политиздат, 1990. – 541 с.
11. *Toddес Е.А.* Мандельштам и опоязовская филология // Тыняновский сборник. Вторые Тыняновские чтения: Сб. ст. / Отв. ред. М.О. Чудакова. – Рига: Зинатне, 1986. – С. 78–102.
12. *Шкловский В.Б.* Розанов // Гамбургский счет: Статьи – воспоминания – эссе (1914–1933). – М.: Сов. писатель, 1990. – С. 120–139.
13. *Синяевский А.Д.* «Опавшие Листья» В.В. Розанова. – Париж: Синтаксис, 1982. – 336 с.
14. *Бунин И.А.* Окаянные дни. – М.: Сов. писатель, 1990. – 128 с.
15. *Шкловский В.Б.* «Еще ничего не кончилось...». – М.: Пропаганда, 2002. – 461 с.
16. *Гинзбург Л.Я.* Записные книжки. Воспоминания. Эссе. – СПб.: Искусство-СПБ, 2002. – 766 с.
17. *Dainat H.* Überbietung der Philologie. Zum Beitrag von Wilfried Barner // Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 1910 bis 1925. – Hrsg. v. C. König u. E. Lämmert. – Frankfurt a. M.: Fischer, 1993. – S. 232–239.
18. *Petersen J.* Literaturgeschichte und Philologie // Germanisch-romanische Monatschrift. – 1913. – № 5. – S. 625–640.
19. *Benjamin W.* Literaturgeschichte und Literaturwissenschaft // Angelus Novus. Ausgewählte Schriften 2. – Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1988. – S. 450–456.
20. *Barner W.* Zwischen Gravitation und Opposition. Philologie in der Epoche der Geistesgeschichte // Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 1910 bis 1925. – Hrsg. v. C. König u. E. Lämmert. – Frankfurt a. M.: Fischer, 1993. – S. 201–231.
21. Филология // Литературная энциклопедия: в 11 т. – Т. 11. – М.: Худож. лит., 1939. – Ст. 728–731.
22. *Аверинцев С.С.* Филология // Большая советская энциклопедия. – М.: Сов. энцикл., 1977. – Т. 27. – С. 410–412.
23. *Аверинцев С.С.* Филология // Краткая литературная энциклопедия. – Т. VII. – М.: Сов. энцикл., 1972. – Ст. 973–979.
24. *Аверинцев С.С.* Похвальное слово филологии // Юность. – 1969. – № 1. – С. 99–102.
25. *Гаспаров М.Л.* Филология как нравственность // Записки и выписки. – М.: Нов. лит. обозр., 2002. – С. 98–100.
26. *Лихачев Д.С.* О филологии. – М.: Высш. шк., 1989. – 207 с.
27. *Гаспаров Б.М.* Тартуская школа 1960-х годов как семиотический феномен // Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. – М.: Гнозис, 1994. – С. 279–294.

-
28. *Седакова О.А.* «Вечные сны, как образчики крови...». О Юрии Михайловиче Лотмане и структурной школе в контексте культуры 70-х годов // Лотмановский сборник 1. – М.: IC-Garant, 1995. – С. 260–265.
29. *Пильщиков И.А., Шапур М.И.* Lectoribus nostris // Philologica. – 1994. – № 1–2. – С. 7–8.

Поступила в редакцию
20.12.10

Херлт Йенс (Herlth Jens) – доктор филологических наук, ординарный профессор кафедры славистики Фрибургского университета, Швейцария.
E-mail: jens.herlth@unifr.ch